

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П89

Художественное оформление серии
А. Дурасова

Пустовая, Валерия.
П89 Ода радости : роман / Валерия Пустовая. — Москва :
Эксмо, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-04-106191-3

Первая книга прозы авторитетного литературного критика Валерии Пустовой — история без вымысла. Предельно личное, документальное свидетельство об одновременном проживании смерти и материнства.

Умирание и вскармливание, горе и праздник, отчаяние и нежность, инфантилизм и взросление в этой книге идут рука об руку. У автора получилось на своем опыте показать, как в точке соединения «черного» и «белого» обретается правда жизни и глубина счастья. И как жизнь сама воспитывает нас, пока мы учимся воспитывать своих детей.

Эта книга для тех, кто боится терять и учиться обретать. Книга утраты и любви, которая у роковой черты осознанней и сильнее.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-106191-3

© Пустовая В., 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Вместо предисловия

Что тут скажешь?

Дочери теряют, матери обретают.

Это в порядке вещей.

Разве дочь — не та, что однажды теряет мать?

И разве мать — не та, что без конца обретает, родив?

Это — нормально. И, в конце концов, это хорошо, если так, если не наоборот.

И если не разом, в один и тот же, и прекороткий, как видится теперь, отрезок времени пришлось и потерять, и обрести.

Впрочем, и такое бывает. Что же тут необычного? А я и не собираюсь рассказывать вам что-то необычное. Я не верю в случайности, фарт, проклятия, ловушки судьбы. Хотя и у меня не хватит сил сказать, что все вышло так, как надо.

Нет, мне не надо — так. Не было надо, чтобы долгожданный ребенок от наконец полюбившегося мужчины родился в тот год, когда мамина участь стала явной, скорой и неотвратимой.

Но так случилось, что жизнь моя повернула разом на зиму и лето, будто разбежалась двумя солнцами.

Эта книга тоже и росла, и никла. Она о самом драгоценном — и горестном.

В ней много мелочей, но нет случайностей.

В ней два солнца, но жизнь одна.

Я хочу рассказать вам не об утрате и даре, не о горе и счастье.

А о том, как не сумела их разделить.

И это тоже — нормально. И это — хорошо.

О Д Н А

В свете точки

6

Сегодня, когда моей бабушке в Киргизии исполнилось девяносто лет, а ее дочь шестидесяти шести лет похоронили на подмосковном кладбище рядом с ее же сыном, нашедшим вечный покой девять лет назад, я думаю о времени. О том, что в романах-то я люблю такой поворот: время истекает, и пересыхает роман, и пуст исток событий. Это момент, когда в книге кончается ресурс действия. Герои еще трепыхаются, еще надеются вывернуться и подогреть интригу, перетоптаться и выскочить в новую главу жизни, но автор торопит кульминацию и развязку. Это пора, когда возможности перерождаются в рок, намерения — в судьбу, догадки — в знание, с которым маяться в эпилоге и далее везде. Это созревание невысказанных желаний, это разлитие вскрытой крови, это опадание плодов, вспревших от приливов надежд и печалей.

Наше последнее с мамой лето в Киргизии я торопилась перелистнуть. Со всеми его привычными радостями — базары-горы, кафешки-барашки, арыки-алычи — все это не менялось из года в год и тем пленяло, но и держало в плену: ведь и в жизни моей ничего не менялось. И про последнее мое лето с мамой на отдыхе я не запомнила ничего особенно хорошего, потому что все хорошее было как всегда. А вот моя тревога осела в памяти, как самый дурной поступок.

Я хотела оказаться с мамой в Москве, и на новых условиях. Взрослой дочерью, встречающей ее пирогом

и внуком, приведшей в дом мужчину, на которого мы с ней можем наконец положиться. Маме домой был куплен кухонный диван, такой удобный, что режет, как вспомнишь о ее страданиях, когда с него уже почти не вставала.

Я уехала из Киргизии, а она осталась. На первый свой полный год у бабушки, в изнанке спелого лета, в Венеции зимой. Слышала я, есть в Киргизии такая долина смерти, куда не стоит соваться в морозы, иначе застрянешь и пропадешь. Я никогда не видела этого места, но сегодня, думая о маме в зимней Азии, я представляю себе этот заснеженный капкан за окнами уютной двухкомнатной квартиры в кирпичном доме, в хорошем районе у парка, с видом на набережную сухого арыка, с вечной новогодней елочкой в углу и гирляндами старых родственников открыток по стенам под портретами дедушки и бабушки Ленина. Когда бабушка — впервые за много десятилетий — позвала маму остаться и позаботиться о ней, мама попала в ловушку. Она провела год в стране своего детства, где когда-то был союзный рай, а сегодня платят мукой и консервами за голоса на выборах, торгуют никому не нужными русскими книжками на барахолке вдоль заброшенной железной дороги и выстаивают первые маленькие очереди за фастфудом. В домах спилены батареи: за отопление запрошено столько, что проще сдать на металлолом. Бабушка боится ставить обогреватель: розетки изношены, чинить некому; при мне когда-то вызывали электрика — пришли три матерых пьяных киргиза и толком ничего не сделали. Холода стоят российские, и до апреля не прибывает тепла. По стране прокатывается волна бытовых пожаров. Мама кипятит воду на единственной плитке, переодевается дома в пальто и сапоги и занимается самолечением в холодной воде.

Я страшно боялась, что к ней там вернется старое заболевание бронхов, но обошлось. Мама страшно не хотела бросать выгодную подработку няней — у знакомых, да в центре города, с неполной неделей, но обошлось. Ее подопечная уехала на родину папы, во Францию. Мы

радовались такому удачному совпадению: теперь маму ничего в Москве не связывает, нет повода для метаний, Бог так славно все устроил.

Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется преисполненным смысла: в мире появляется логика — твоя собственная, но ты приписываешь ее высшей силе. Когда все так, как хотел, ты хвалишь себя за то, что живешь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь.

Потом один из врачей, туманно обосновывая отказ в операции, скажет ей: «Вы слишком долго где-то ходили...» Ясно где: мама целый год ухаживала за бабушкой, не нуждавшейся в уходе, отвоевывала у нее право полистать интернет и поспать днем, когда сморит, помыть пол и выбросить старые тряпки — бабушке, как и мне, хотелось пожить с мамой на своих условиях. Как бы то ни было, мама отдала дочернему долгу год, и разве это не достойно награды?

Потом я открою ее переписку со старым другом и прочту: «Выбора у меня нет». И вспомню, как жаль ей было застрять в чужой уже стране, когда в Москве так много недосмотрено, недоделано. Ей не хотелось проживать еще сильные свои годы там, где даже в библиотеку не запишешься: требуют оставить в залог местную ID-карту, а главное развлечение — базаровать. Весь год мы с мамой развлекались: обсуждали выгачки и оборки, длину и цвета, и она никогда не называла цвет правильно — так, как я бы его назвала, и было много смешной путаницы, и мешок в обратную дорогу рос, а мама, по привычке своей экономить, еще раздумывала, брать ли до аэропорта в соседнем городе такси, но я уговорила, и когда она переступила порог и я увидела, кто привез мне огромный тяжелый мешок замечательных, недорогих, теплых, нужных вещей, в которых я теперь что ни день, — ...

«Мама должна быть мягкой», — всегда шутила я. И гордилась, что мама моя кругла, и забывала юные ее фотографии, где высокая грудь и талия, какой у меня не будет вовек. Теперь я помню только на ее опавшем лице

большие круглые глаза — доверчивые и удивленные, как у заблудившегося в ночи ежика.

Выбора нет, считала мама, и я вслед за ней. Я люблю ситуации, когда выбора не остается и не надо мучительно выбирать, потому что единственно правильное дано. И только теперь задумалась, откуда берется такая определенность решения. Если нет выбора, значит, есть глубокое и скорое внутренне согласие на то, что дано. Даже долг оставляет выбор: должен ли ты — сам ведь и решаешь. И мама решила, что должна.

Хотя никого из других моих знакомых женщин ее возраста нельзя было бы подписать на год жизни в таких условиях. Их внутренний компас стрельнул бы, отворачивая. Но мамина чуткость к себе сломалась давно.

«Была цветущая женщина, а теперь посмотри — как из концлагеря», — сетовала она, а я рада была узнать, что она все-таки считала себя цветущей, хотя отвергала маркские белые пуховики, жалела кожаное пальто, ленилась подкрашиваться, не терпела гладить. Больная, она вдруг стала на некоторое время стройно выглядеть и изящно одеваться, пила из чашечки с блюдцем, как, призналась, всю жизнь мечтала и не пила, покупать телепрограмму в журнале «7 дней» и удивляться себе, почему сэкономила на нем раньше.

И зачем я сетую на год в Киргизии, прошедший без диагностики и лечения, если знаю, что, будь даже мама в Москве, мне ох и не сразу удалось бы уговорить ее пойти к врачу.

Фантазии о том, как бы вы провели свои последние дни, утешают только молодых и здоровых. Мне тоже грезились Неаполь или Прага с мамой, но стало бы у нее сил до ванны дойти.

Не покупайте, говорит, больше такое здоровенное средство для посуды. Лежу, целыми днями только его и вижу.

Наше время начало пересыхать весной, когда я, отойдя немного из-под сени старого замкового парка в Шотландии, узнала от коллеги по Скайпу о том, что журнал, где я проработала больше десяти лет, лишится дома и

едва сводит концы с концами. В тот же день в Фейсбуке прочла, что умер долго боровшийся с болезнью муж писательницы Анны Старобинец.

Я хотела изменить себя, но чтобы мир вокруг ждал меня прежним, как брошенная в обед детская. Как будто время течет не для всех. И снова думала, как хорошо устроил Господь: вот ведь и выигранный по конкурсу отдых в Шотландии перед, пугали, материнской страдой. Я оплатила курс у психолога, чтобы никакие зацепки в прошлом не помешали мне всей полнотой сердца принять накапывающее счастье.

И я была счастлива, да. Все эти полгода с мамой в Москве, от 15 июля, когда ее встретил в Домодедове мой муж, до 25 января, когда я увидела последнее, рефлексаторное движение ее рта, я жила счастливо, как во сне о том, что сбилось заветное: в доме есть мужчина, чтобы опереться, и сын — радоваться, и мама — показывать мои достижения и видеть, как она ими довольна. Горю тесно в наших счастливых, до краев наполненных заботами днях, оно затаилось, замьлилось сериалом «Коломбо», заелось овсянкой и курочкой, сомлело в груди стираных маленьких одежд, уснуло под свет улыбок. Эти полгода мы жили как обычно — я прочитала в интернете, что это вернее всего. Мама сердилась на мужа, сидевшего в смартфоне во время еды, я возмущалась ею, откинувшей мои волосы от лица ребенка, муж терял терпение оттого, что ему не позволяют самому решить, когда мыть посуду. Она запрещала мне носить слинг и ехать с ребенком на вещевой рынок, я отбирала у нее копченую колбасу. Мы обсуждали литературные новости, посмеивались над сценаристами британского сериала, принимающими нас за дураков, удивлялись иным вопросам к батюшке на канале «Спас». В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации НацБеста, хотя впору было схватить ее за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: «Мама, мамочка», но так мы уже провели день до того.

Днями было сухо и тепло, и только во сне — два раза помню достоверно — я рыдала от горя, в голос, до встряски в груди.

Я просила у нее прощения, а она отвечала: «Да ну, сколько и я по молодости глупостей делала, вот, скажем, когда эту квартиру дали, не хотела в ванной ручку к стене прикручивать — зачем мне, думала, я и так, — а теперь без нее ни залезть, ни вылезти».

Я обозналась в кульминации. Весь этот год, пока мама жила у бабушки, я восходила, охотясь за шотландскими овцами и тенями в своем прошлом, не к материнскому свету, а к сиротской мгле. Кто-то свыше знал, для чего на самом деле скоплены были мои телесные и душевные силы. Кто-то свыше знал, зачем именно сейчас у меня родился сын.

Он был с нами с первых минут горя, когда я с ним на руках поднялась на второй этаж диагностического центра «Инвитро» и узнала, что отныне держу в руках две жизни, нуждающиеся во мне почти с равной интенсивностью. Я гуглила пестушки-потешки и проценты выживаемости. Мы волновались, как на гонках, оставляя его одного для безболезненных, но нудных процедур, которые маме приходится выполнять через день. Раз в автобусе мы с мамой заспорили о квотах на лечение и в нервах едва не упустили коляску на выходе. Мы прятали от него шотландский плед, редкостно яркой расцветки, которую я для мамы едва разыскала: он любил общипывать его, и мы боялись, что наестся шерсти.

«Пойду посмотрю на Буличку и тогда усну спокойно», — бывало, говаривала она, прозывая внука в честь слова «забульбулькал», тут же ею самой для него и придуманного. С тех пор имя Булка приходит мне на язык куда скорее, чем его настоящее.

Он показал себя большим другом. Работал переключателем: прогонял холодную враждебность диспансеров, развеивал страх перед новыми симптомами ухудшения, тянул на себя мысли. Широко улыбался ей и не замечал, как она изменилась, и у нее отлегалось от сердца: что, ты меня не боишься? Хватал за руку, в которую она приучила его утыкаться, чтобы заснуть, а теперь только и могла, что протянуть навстречу. Я до последнего подкладывала его к ней на диван, и она говорила слабо, но уверенно: «Не бойся, не упушу» — и держала хоть ногами.

На простыне с романтичным принтом в лодочках, выданной сестрой-хозяйкой, он провел с нами в хосписе полтора дня. На последних ее минутах крепко спал, а затем сразу проснулся и — привычно, но тут так вовремя — заныл.

«Я теперь надеюсь, что буду смотреть на вас оттуда. На Люличека — пауза — и на Люлечку», — сказала она, перешивая еще одно имя внуку из моего старого, домашнего, и я, отвернувшись, заплакала: она надеялась, что приедет на пару месяцев подлечиться и укатит обратно к бабушке, она надеялась, что не станет инвалидом, она надеялась, что вылечат, — в стольких своих надеждах она обманулась, так трудно поверить, что хоть этой суждено оправдаться.

Я не могу спокойно слушать детскую песню «Сюрприз». Каждый новый день приносит нам новую напасть, тело сбивает то там, то тут, круг возможностей сужается, скачущая кривая желаний вытягивается в лежанку. В декабре, когда окончательно решено, что новой химии ей не выдержать, мама впервые просит: «Господи, дай хоть пожить». Но уже подступает неделя, отнявшая у нас завтра. Все эти месяцы мы откладывали прощальные разговоры, перебивая печаль хлопотами о том, что под носом, и вот когда мама, велев перебрать две коробки своих лекарств, наконец готова — «завтра все позаписываем, поговорим...» — наутро оказывается, что грудь ей заложило одышкой. «Так много воздуха, а мне не хватает, Господи, дай хоть подышать». А когда я, накануне протоптавшись до вечера в палате и дома толком собравшись, чтоб засесть еще на день, примчалась в хоспис к врачебному обходу, мама уже была без сознания.

Никто не знает, как окончит жизнь, но потом кажется, что можно было и догадаться. Бог ревнив, говорят, и бьет туда, где теснее привязан к миру. Я смотрела, как у мамы отбирают ее последнее утешение — потрапезничать весело, понабрать вкусностей, поделиться лучшим на столе. Вот они, наши гастрономические вехи к прощанию.

Пирог с вишней, с которым я бегу к ней из лавки «Караваев» и плачу, потому что он не то, что может ей

помочь, но то, что я могу для нее сделать. Креветки на гриле в новой районной кафешке, где мама успела напоследок посидеть в зеркалах и светском общении. Сервелат «татарский», купленный в мордовской лавке, которого она откусила колесико, поприветствовав: «Я так соскучилась». Натуральные малиновые конфеты, которые принесла ей, чтоб хоть немного подсластить унылую диету, она схватила радостно, но вскоре выпустила, пожалившись: косточка там, говорит, внутри, такая колючая. Четыре сырника, на которых маме пришлось дожидаться нас до самого вечера: мы ушли за покупками, думая, что она сама возьмет себе что-нибудь из холодильника, но сил встать и погреть не хватило, и вечером она сказала с обидой отлученного от груди малыша: «Уйду от вас, вы меня не кормите!» Селедочный торт под Новый год, для которого она, собрав силы, встала и почистила вареные овощи и иваси, а я от усталости и спешки выбросила банку с рассолом прямо в мусорное ведро, и пакет протек, и игровой мат ребенка забрызган, и в ванну он не помещается, и я выношу торбу с грязным бельем и со зла толкаю дверь ногой — и попадаю в стеклянную вставку, и сижу под разбитой дверью, рыдая, что вот маме как будто сегодня лучше, что она хотела мне помочь, а я опять по своей глупости и нетерпению все испортила. Протеиновые бутылочки с ванилью для питания ослабленных, которые мама называла «моя мишка» и говорила: «моя любимая пришла» — с такой нежностью, что я всякий раз обманывалась: про меня? Краб камчатский и лимонад, которых вдруг запросила в свой последний день дома, — лимонад едва пригубила и деликатес, едва клюнув, отодвинула: «Не хватало еще крабом блевать». В хосписе она скажет: «Как у вас вкусно готовят», хотя речь пойдет о протертых макаронах и котлете, и предложит мне: «Попробуй!» — как всегда предлагает самое вкусное. Я кормлю ее с ложки, будто ребенка прикормом. Она спросит, что это, и скажет задумчиво: «Ну да, это по мне, а то я на лошадь уже пересела...» — я не сразу пойму, что в виду она имеет конскую колбасу, которая от тоски по обильной и острой еде ей даже приснилась.

Это была ее, видимо, последняя шутка. Впрочем, нет: последней придется признать тот факт, что ушла она в Татьянин день. Мы часто прикалывались над тем, что в жизни ее, что ни знакомство, всюду встречаются Татьяны.

Это был и день восьмидесятилетнего юбилея Высоцкого, чьи песни в кустарном еще, слепом издании мой отец подарил маме и подписал: «Жене, которая, как и ее кумир, не ищет в жизни легких путей».

Я знаю, как важно мне полюбить легкие пути. Суметь понежиться, положиться, помедлить, отказать, оставить себе — все то, чему не считала нужным учиться она. Но на неделе, когда повторное КТ показало, что химия не подействовала, я впрягаюсь в коляску с малышом и продуктами и в ответ на предложение мужа помочь кричу: «Нетяжело!» — и тащу что есть силы, и чувствую сиротскую эту смелость: вот-вот мне просто не останется для кого себя пожалеть.

Иногда мама отворачивалась от внука: где-то услышала, что пожилым и больным не надо смотреть на маленьких. «Какая чушь!» — говорила я, тем более уверенно, что знала: такая, как она, точно от ребенка не заберет. Когда в московской больнице умирал ее брат, приехавший к нам попытать позднего нового счастья, мама держала его за руку и говорила: «Хочешь — возьми всё!» Брат в поздние свои годы был доморощенным экстрасенсом и, вероятно, понял, что она про энергию.

«Это как колодец, из которого черпают и не вливают», — выскажет психолог свое мнение о заболевании моей мамы. Я тоже черпала, я пила из него при всякой возможности, я принимала к ней, а кто у меня еще был? Она огорчалась, только если отданное ею не шло впрок.

Крестный путь, я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: «Сдохни меня!», обращенные к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: «Кто только мордой меня не возил», как скажет о медицинских работников. А главное, через несправедливость — незаслуженность,

невольность горя. «Не пожила ни там, ни здесь, никому не помогла... Так с хорошими людьми не поступают». И, как я ни убеждаю ее, что Божий суд свершается не в дачах и здоровых зубах, обильных потомках и заграничных выездах, она верит, что оставлена.

Вся история ее болезни уместилась для меня в один-единственный образ: когда-то я провожала ее к бабушке, и купленные для нее московские конфеты перевесили в багаже, и маме пришлось подхватить полные конфет, рвущиеся пакеты и, трепеща, что окрикнул и не пропустят, пройти на паспортный контроль. Она движется прочь от меня одиноким испуганным ежиком, она обременена тяжелой своей недальновидностью, она надеется, что проскочит, она боится, но тащит запасенное, она идет доверчиво и неприкрыто: ей просто некуда деваться.

Когда она ехала с консультации в диспансере, в метро у кого-то заиграла киргизская песня. И мама заплакала. То, что ожидало ее в родном доме, было так страшно и не нужно ей, что она готова была сей же час уехать на года к своевольной матери и неоттапливаемой зиме, лишь бы уехать здоровой.

Но выбора у нее теперь точно не было.

Дальним знакомым в Москве мама велела сказать, что уехала в Киргизию. Дальним знакомым в Джалал-Абаде бабушка велела сказать, что мама осталась лечиться в Москве.

Обе эти версии я поддерживаю. Иначе с чего бы к моему сердцу прилило столько света, покоя и утешения, когда она отошла? «Ну умница, отмучилась!» — прошептала я ей, от души поздравляя и плача, потому что в расставании — как я читала где-то в детстве — большую долю печали принимает на себя остающийся.

В горе утешают только горькие книги. Одна история из книги Анны Старобинец «Посмотри на него» навела меня на светлейшую мысль. Речь шла об обреченном еще в утробе ребенке, рожденном, чтобы счастливо и полно прожить на руках у матери всего день. По сравнению с этим днем шестьдесят шесть лет — какая это богатая,